Коллектор и корректор. Как возможно не подавиться Крымом?

Должник сильнее иска. *Осип Мандельштам*

Во время сотрудничества с известным литературным деятелем Татьяной Михайловской в редакции журнала «Библио-Глобус», когда основой издания был рецензионный портфель, я подарил ей по ходу дела едва ли не все свои, посвященные литературному Крыму, книги [9, 10, 11, 12]. Трудно теперь судить, какими ещё источниками и с какой степенью внимательности пользовалась она, сочиняя, так сказать, с «нуля» статью «Борьба мифов: русская идиллия и русская героика (Крым в русской поэзии)» [13]. Ссылки в этом новом жанре коллекторского выбивания поэтических долгов из предшественников (а ведь: «научно — не научно» — помнится, это было одно из основных редакторских оценок автора, когда она была при редакторском исполнении). Впрочем, я мзду лайками и ссылками не беру, мне за державу (поэтическую) обидно... Были бы ссылки, тень героев Василия Шукшина (который «Срезал», и который тайно пишет «Трактат о государстве») в той или иной степени пала бы и на ссылаемого.

«Таврида» — это византийский проект Екатерины и Потемкина», авторитетно заявляет автор [13, с. 113]. Интересно, для кого из читателей «толстых» журналов это по-прежнему *открытие*? «Открытие» это, впрочем, в известном смысле профессионалами закрыто. Не так давно историки выяснили, что эти два проекта — Греческий (так он тогда назывался) и Крымский — были выдвинуты разными придворными политическими партиями («прусской» и «русской»), преследуя весьма различные цели.

Греческий нацеливал страну на решение грандиозной задачи полного изгнания турок из Европы силами совместной коалиции для раздела владений Оттоманской Порты. Сочиненная же между делом Григорием Потемкиным записка «O Крыме» предусматривала присоединение полуострова к империи и уничтожение ханства силами только России. Когда дело дошло до осуществления крымского плана, Потемкин, как отмечает историк Ольга Елисеева, стал держать в неведении императорский двор, чтобы не посвящать в его детали союзника Иосифа и внутренних «бурбонцев» (сторонников Австрии). Отсюда вывод, фактически подменил один проект другим, сузив грандиозные цели первоначального документа до размеров реально осуществимой силами одной России внешнеполитической акции» [6, с. 16]. Интересная, между прочим, параллель с недавними событиями...

Сама по себе идея «преемства от Греции», сформулированная еще в «Слове о законе и благодати» Иллариона (нач. XI в.), была одной из основополагающей для ряда идеологических построений, связанных с попыткой определения русской идеи, «России» и «русскости». Но соответствовал ли он в своём конкретном воплощении государственным интересам России именно в тот момент? В любом случае, культурнологическая и политическая борьба между Греческим и Крымским проектами (и текстами) имела место, и в 1783 году победил именно Крымский проект, который в действительности стал не «первым шагом» воплощения Греческого проекта, а скорее последним, возвращением к политической реальности, хотя идея проливов и потом время от времени вспыхивала в возбужденном политическом сознании.

Роль первопоэта Крымского текста Семена Боброва, при всем почтении к нему, определена Татьяной Михайловской таким историко-литературно не совсем верным образом: «Никем не любимый, предмет насмешек в литературных кругах, горький пьяница, за что прозванный *«биберисом»* (лат. bibere — пить)...» (13, с. 114). Один из образованнейших людей своего

времени, один из первых поэтических переводчиков с английского (по тем временам не столь популярного, как французский) языка Семен Сергеевич Бобров (ок. 1765–1810) при жизни-то был весьма популярен, хотя и популярностью разного качества. В учебниках того времени оды делились на ломоносовские, державинские и бобровские. Видный историк русской поэзии Иван Розанов в начале XX века напомнил, что Гаврила Державин, прежде чем передать «ветху лиру» Жуковскому и благословить, «в гроб сходя», Пушкина, именно в Боброве думал видеть своего преемника [14, с. 377]. Будучи архаистом-«шишковистом» (не очень правоверным), Бобров как активный участник литературного процесса стал предметом насмешек со стороны противоположного, оказавшегося победителем в той литературной борьбе, лагеря «карамзинистов», поэтому-то и был вытолкнут в «забвение». Но прозвище Бибрис (так!) – пьяница, он придумал себе сам, вооружив им была эпиграммистов, поскольку такая поза элементом тогдашней литературной стратегии демократического литератора, в пику аристократам, начиная с Ломоносова [8].

Общий исторический контекст коллекторской, но не прошедшей должную редактуру и корректуру, статьи, тоже заставляет желать лучшего: «После присоединения Крыма-Тавриды предполагалось продвижение России в сторону Константинополя, некогда разграбленного крестоносцами, а *затем* (выделено мной - *А.Л.*) захваченного турецким султаном...» (13, с. 113). Крестоносцы захватили Константинополь в 1204 году. Турки взяли Константинополь в 1453 году. Вот так «затем» продолжительностью в два с половиной века!

Затем переходим к Крымской войне. «Однако русская поэзия все политические вопросы того времени проигнорировала», - таков осуждающий вывод Татьяны Михайловской по этой теме (13, с. 117). Однако («а судьи кто?») отнюдь! Федор Тютчев выразил своё отношение к Крымской войне не только в приводимых в статье письмах, но и в стихотворениях,

парадоксальным образом выражающих идею о невозможности стихов во время (и после) Севастополя.

Теперь тебе не до стихов, О слово русское, родное! Созрела жатва, жнец готов, Настало время неземное...

Ложь воплотилася в булат; Каким-то божьим попущеньем Не целый мир, но целый ад Тебе грозит ниспроверженьем...

Ужель во главе «целого ада» теперь «та самая Татьяна»? Всего стихов о Крымской войне написано бесчисленное множество, и в них, в частности, затронуты обострившиеся вопросы внутренней и внешней политики - у Алексея Плещеева, Аполлона Майкова, Степана Шевырева, братьев Аксаковых, Алексея Хомякова, Петра Лаврова и многих других. Тютчев же не преминул откликнуться и на такую последующую внешнеполитическую победу России, дезавуирующую последствия Крымской войны, как циркуляр МИДа от 19 (31) октября 1870 году, который извещал правительства держав, подписавших Парижский мирный договор 1856 г., что Россия более не считает себя связанной постановлениями, ограничивавшими ее суверенитет на Черном море.

Да, вы сдержали ваше слово: Не двинув пушки, ни рубля, В свои права вступает снова Родная русская земля — И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.

Счастлив в наш век, кому победа Далась не кровью, а умом, Счастлив, кто точку Архимеда Умел сыскать в себе самом, —

Кто, полный бодрого терпенья, Расчет с отвагой совмещал — То сдерживал свои стремленья, То своевременно дерзал.

Но кончено ль противоборство? И как могучий ваш рычаг Осилит в умниках упорство И бессознательность в глупцах?

Стихотворение обращено персонально к министру иностранных дел Алексею Горчакову с припиской: «...Так как мои рифмы снискали ваше расположение, вот, князь, более точный и более полный их список» [16, с. 247-248]. Кажется, этот список снимает претензии насчет политической задолженности поэзии, независимо от каких-либо идеологических предпочтений.

Переходим к Гражданской войне, перед которой у русской поэзии, по мнению Татьяны Михайловской, накопился какой-то особый, вполне оффшорного масштаба, долг, позволяющий сделать из весьма случайных статистических сопоставлений не лезущий уже ни в какие ворота

коллекторский вывод: «В одном Севастополе гражданскому населению был причинен имущественный ущерб в 500 тысяч рублей золотом. А военного имущества со складов порта было разграблено на 5 миллиардов золотых рублей. Зачем я привожу эти цифры? Имеют ли они какое-нибудь отношение к русской поэзии? Да никакого! Русская поэзия сжевала свои 200 грамм **хлеба** – дневная норма – и не подавилась (выделено мной – A.Л.). Грабежи, убийства, расстрелы, партизанские отряды, забастовки, женские продовольственные бунты, холера, сыпной тиф – жизнь в Крыму и напоминала эту жуткую эпидемию, - но в поэзию практически впечаталась только одна страница этого ада – противостояние "красные – белые"» [13, с. Мандельштам не 120]. Как будто бы Осип писал всем предъявительницы фальшивых счетов) известные строки: «Холодная весна, голодный Старый Крым...».

Русская поэзия (не говоря о прозе!) создала объемный образ Крымской Голгофы со всеми кругами Ада в Раю. Крым Врангельский, как это выразил Сергей Бехтеев – несостоявшееся гражданское Бородино: «Мы шли в поход, снося обиды / И злобу внутренней судьбы / Туда, к полям седой Тавриды / Для новой муки и борьбы» [3, с. 19]. У Николая Туроверова мотив жертвенности («Нас было мало, слишком мало. От вражьих толп темнела даль») соединялся с расширением масштаба трагедии до всемирноисторического значения: «Но нас ли помнила Европа, / И кто в нас верил, кто нас знал, / Когда над валом Перекопа / Орды вставал девятый вал» [15, с. 151]. Показано и само ядро этой трагедии, в которой нередко сходились в смертельной схватке ближайшие родственники: «Брат поднял десницу на брата, / Сын поднял свой меч на отца». «И режутся русские люди, / И бьются два стана врагов; / От слез надрываются груди / У сирот малюток и вдов». Свидетельство из Керчи: «Дети несчастные, бедные дети, / Пасынки злобной судьбы! / Вы прозябаете грустно на свете / В годы гражданской борьбы». Стихотворение «У моря» переносит уже в Севастополь, город трагической, а не пафосной героики.

Тут возникает такая мировоззренческая коллизия — в чем же именно поэтический «долг»: отразить всё многообразие испытаний, до нарастания бытовых проблем включительно, или сохранить внутреннюю целостность подключением к поэтической традиции? На берегу моря Бехтеев сумел в той мере, которая необходима для поэтического самосохранения, выключиться из истории и соотнести свои впечатления с вечностью через пушкинский образ свободной стихии: «Я опять стою у моря, / Чуждый гнева, чуждый горя, / Чуждый рабских дум, / И опять меня ласкает, И зовет, и увлекает / Этот вечный шум». Однако, как отметила крымский филолог Светлана Афанасьева, если пушкинскому лирическому герою шум моря напоминал о мирской суете, о тщетности суетных желаний, то лирический герой Бехтеева в шуме волн и «седого» прибоя слышит призыв к продолжению борьбы: «И в их плеске слышу снова / Дорогое сердцу слово - / Бой, смертельный бой!» [1, с. 120].

Вот «казачьему Баяну» Николаю Туроверову вестовой не дал возможности припасть напоследок к пушкинским бахчисарайском фонтанам.

Нетерпеливо вестовой
Водил коней вокруг гарема, —
Когда и где мне голос твой
Опять почудится, Зарема?
Прощай, фонтан холодных слез.
Мне сердце жгла печаль иная —
И слез тебе я не принес,
Тебя навеки покидая.

Но ещё один участник Гражданской войны в Крыму поэт Евгений Недзельский не то чтобы вписывает — как будто бы собственным ногтем, физически ощутимо вдавливает восприятие реального Крыма в сложившийся Крымский текст русской поэзии: «Предгорье, выбитое стадом, как душа, /

Крым, розоватый ноготь севера и скалы / Миндальных облаков...». А острое ощущение неминуемой потери бесконечно дорогого места приводит к мысли приберечь последнюю пулю для себя в измерении крымского равенства: «И хочется за море, за стада, / За кипарисов строгое качанье, / За завязь винограда раз и навсегда / Умелой пулей убедить сознанье, / Что все равны в лазурях мирозданья...» [2, с. 171].

Поэтесса Вера Клюева тоже стала свидетельницей Гражданской войны в Крыму, после окончания которой не эмигрировала, а стала известным советским филологом и переводчиком, дружила с Варламом Шаламовым. В её стихотворении «Иудино дерево» лирический сюжет расцветает в пространстве крымских воспоминаний, и память при этом сопротивляется, не желает воспроизводить картины кровавого прошлого: «Платанами широкими закрой / Воспоминанья огненного боя». Война уже как будто позади, Крым снова стал прекрасным: «Давно ушли к Босфору корабли, / И смыли кровь на палубе матросы. / И снова жалят солнечной земли / Веселые и золотые осы» [2, с. 571].

Вот изучающий крымские древности седовласый ученый с таким же спокойно-беспристрастным отношением, с каким «разбирает кости» далеких предков, рассматривает и «новый череп». Но поэт, в отличие от ученого, всё же иначе воспринимает эти «новые кости», блестящие «недавней белизной». Волна воспоминаний все же подымается, заставляя по-новому пережить ужас тех времен, когда Крым полыхал войной. Это был тот «год, когда подстреленным крылом / Кровавились закаты над горами». В этом видении трагичность ситуации обрамляет великолепно, но вместе с тем и раздражающе тревожно цветущее иудино дерево, являющееся органической частью восхитительной крымской флоры: «И дерево иудино цвело / Обильными багровыми цветами».

В лирическом тексте Веры Клюевой «Крым», изваянный «из солнечной лавы» прекрасный Крым и спокойный, с мечетями, сияющими «в закатной пыли», Босфор, «куда отошли корабли», только острее напоминают его

автору о том грозном времени, когда все горело, рушилось, когда погибали люди и лошади — «Но синяя влага лепечет / И там, у последних ворот, / О том, как стальная осечка / Сводила агонией рот, / О том, как цикады звенели, / Как пули низали волну, / Как лошади, вздыбясь, храпели / На ялтинском узком молу» [8, с. 85].

К аналогичному сюжету возвращается под занавес жизни Георгий Иванов:

Свободен путь под Фермопилами На все четыре стороны. И Греция цветет могилами, Как будто не было войны.

А мы – Леонтьева и Тютчева Сумбурные ученики – Мы никогда не знали лучшего, Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами, И нам потворствует весна, Пройдя меж трезвыми и пьяными, Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами, Она садится у окна». Ей за морями-океанами Видна блаженная страна:

Стоят рождественские елочки, Скрывая снежную тюрьму. И голубые комсомолочки, Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами, С одной – стихи, с другой – жених. ...И Леонид под Фермопилами, Конечно, умер и за них.

Не более обоснованы коллекторские претензии автора на предъявление поэтического счета и поэзии периода Великой Отечественной войны ввиду ее якобы несоразмерности очень хорошо известному лично ей «масштабу народной катастрофы» (13, с. 123). Ведь налицо подмена – приводятся только плакатные стихи Ильи Сельвинского, а не, скажем, его поэтическое свидетельство «Я это видел». Воюющий народ в этом деле, между прочим, и сам неплохо разбирался, сделав стихотворение Сельвинского «Боевая Крымская» песней Крымского фронта.

Осуществленное в статье «Борьба мифов: русская идиллия и русская героика» обозначение поэтических полюсов Крыма в виде героического Севастополя и курортного Коктебеля получилось весьма схематичным, соответствующим стереотипам массовой культуры, а не собственно литературной карте и её вершинным поэтическим точкам. Тем самым в новых условиях подтверждаются упреки создателя Киммерийского мифа Максимилиана Волошина «пришлым» литераторам об их слишком «туристическом» взгляде на Крым, чуждом трагической сущности этой земли, для преодоления которой и понадобился альтернативный миф художественно сдержанной Киммерии. Буквально через гору от Коктебеля другой литературно-философский анклав – Судак, ставший также местом рождения ГУЛАГовской литературы, как охарактеризовать онжом «Подвальные очерки» Аделаиды Герцык.

Тебя пасет здесь дух-пастух В пустыне ночи.

Слепые очи!

Следователь, что вел дело А. Герцык, был так потрясен ее «Подвальными стихами», что отпустил ее домой — в обмен за их список и посвящение ему [5, с. 157]. Увы, в 1938 году рукописи ее сына Дмитрия Жуковского не произвели такого же впечатления на решающую его судьбу «тройку», и он был приговорен к расстрелу, в частности, и за хранение контрреволюционных стихов Волошина.

Так что, чем выбивать мифические литературные долги, не лучше ли самому исполнить долг любого, кто берется писать на эту тему, долг восстановления целостной поэтической картины, с учетом не только «официальной», но также «потаённой» и эмигрантской поэзии? По ходу дела уточним, что Игорь Северянин не первым использовал метафору «змея воспоминанья», до него так писал в Крыму не менее популярный в своё время поэт Семен Надсон.

Приезжий поэт стал одет преимущественно в плавки: «Чайки – плавки бога» (Андрей Вознесенский). Местных поэтов «ужель та самая Татьяна» Таврическая склонна переодеть в сугубо античное обмундирование, хотя это какая-то удручающая античность (за исключением цитат из Андрея Полякова). Всё же способы текущего улавливания Крыма более многообразны.

Поэзия, в принципе, сфера глобального приоритета права на самоопределение по сравнению с принципами нерушимости

административных, политических, классовых, жанровых и стилистических границ. Однако «понаехавшие» коллекторы с помощью административного ресурса картину самоопределения искажают весьма существенно. Вот специалист по сибирскому регионализму поспешил ухватиться за актуальную крымскую тему, наскоро состряпав военную историю Крыма от Ивана Грозного до Путина. Здесь совершенная напраслина возведена на крымчаков, якобы нападавших на русские земли в XVI веке [4, с. 6-9].

P.S. Я предполагал опубликовать этот материал в «Арионе» же. Отказ пришел в сопровождении такого редакторского объяснения, сводящего проблему к личной обиде критика:

«Дорогой Александр Павлович! Я прочитал Ваши "полемические заметки". Собственно, они распадаются на два русла.

Первое – вопрос о приоритетах, об использовании Т. Михайловской Ваших материалов. Мне тут трудно быть судией. Ну разумеется, она использовала множество различных источников, в том числе, возможно, и эти, – но это ведь не научная статья, а эссе (да мы научных статей обычно и не печатаем), которое справочно-библиографического аппарата не предусматривает, разве что минимальный. Тут решение за автором. Во всяком случае, я Т. Михайловскую проинформирую о Вашем упреке.

Все остальное — изложение Вашего видения темы. Что могу сказать: за исключением деталей, нюансов и расстановки акцентов Ваша позиция далеко не так сильно расходится с высказанной Михайловской, как Вам кажется. Да и Вы, полагаю, точно так же, как и она, не можете претендовать на истину в конечной инстанции. И "Арион" на нее не претендует. В литературе все авторы субъективны — и должны такими быть.

Я думаю, свою основную задачу — привлечь внимание к характерным чертам и эволюции образа Крыма в русской поэзии — опубликованная статья выполнила. И публикация на ту же тему еще одной, пусть и представляющей предмет в несколько ином освещении, вряд ли что-то в этом смысле добавит.

Ваш А.Д. Алехин».

Но я вынужден «разойтись», поскольку очень литературный «Арион», как стюардесса эконом-класса, при всём уважении, не хочет ничего добавлять пассажирам к конфетке из...

Литература

- 1. Афанасьева С. Концепт «дом» в русской лирике первой волны эмиграции: крымский контекст: дис... канд. филол. наук. Симферополь, 2014.
- 2. Белая лира: антология поэзии Белого движения. Смоленск: Русич, 2006.
- 3. Бехтеев С.С. Из крымского цикла // Крымский архив: историкокраеведческий и литературно-философский журнал / вступ. ст., подгот. текста и коммен. В.В. Лаврова. Симферополь. 1999. № 4.
- 4. Верхотуров Д.Н. Крым. Военная история. От Ивана Грозного до Путина. М.: Эксмо; Яуза, 2014.
 - 5. Герцык Е. К. Воспоминания. М., 1996.
 - 6. Елисева О.И. Геополитические проекты Г.А. Потемкина. М., 2000.
- 7. Зайонц Л.О. «Пьянствующие» архаисты // Новое литературное обозрение. 1996. № 21.
- 8. Лаптева Н.Б. Мотив «ухода из Крыма» в поэзии 1920-1930-х годов // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. Вып. 30.
 - 9. Люсый А.П. Первый поэт Тавриды. Симферополь, 1991.
- 10. Люсый А.П. Пушкин. Таврида. Киммерия. М.: Языки русской культуры, 2000.
- 11. Люсый А.П. Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетейя, 2003.
- 12. Люсый А.П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность. М.: Русский импульс, 2007.

- 13. Михайловская Т. Борьба мифов: русская идиллия и русская героика (Крым в русской поэзии) //Арион. 2016. № 1.
- 14. Розанов И.Н. Русская лирика: От поэзии безличной к исповеди сердца. М., 1914.
- 15. Туроверов Н. Уходили мы из Крыма. Стихи 1920-1952 гг. // Крымский альбом: историко-краеведческий и литературно-художественный альманах. Вып. 2 / сост., вступ. замет. к публ. Д.А. Лосева. Феодосия Москва: Издательский дом Коктебель, 1997.
- 16. Тютчев Ф.И. Лирика: в 2 т. / АН СССР. М.: Наука, 1966. Т. 2. (Лит. памятники).